

Что такое обломовщина?

Н.А. Добролюбов

(«Обломов», роман И.А. Гончарова. «Отечественные записки», 1859, № I–IV)

Где же тот, кто бы на родном языке русской души умел бы сказать всемогущее слово «вперед»? Веки проходят за веками, полмиллиона сидней, увальней и болванов дремлет непробудно, и редко рождается на Руси муж, умеющий произнести его, это всемогущее слово. . .

Гоголь .

Десять лет ждала наша публика романа г. Гончарова. Задолго до его появления в печати о нем говорили как о произведении необыкновенном. К чтению его приступили с самыми обширными ожиданиями. Между тем первая часть романа, написанная еще в 1849 году и чуждая текущих интересов настоящей минуты, многим показалась скучною. В это же время появилось «Дворянское гнездо» и все были увлечены поэтическим, в высшей степени симпатичным талантом его автора. «Обломов» остался для многих в стороне; многие даже чувствовали утомление от необычайно тонкого и глубокого психического анализа, проникающего весь роман г. Гончарова. Та публика, которая любит внешнюю занимательность действия, нашла утомительною первую часть романа потому, что до самого конца ее герой все продолжает лежать на том же диване, на котором застаёт его начало первой главы. Те читатели, которым нравятся обличительное направление, недовольны были тем, что в романе оставалась совершенно нетронутою наша официально-общественная жизнь. Короче — первая часть романа произвела неблагоприятное впечатление на многих читателей.

Кажется, немало было задатков на то, чтобы и весь роман не имел успеха, по крайней мере в нашей публике, которая так привыкла считать всю поэтическую литературу забавой и судить художественные произведения по первому впечатлению. Но на этот раз художественная правда скоро взяла свое. Последующие части романа сгладили первое

Н.А. Добролюбов:
«Литературная критика»
(Москва 1979)
стр. 3

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)

стр. 4

неприятное впечатление у всех, у кого оно было, и талант Гончарова покорило своему неотразимому влиянию даже людей, всего менее ему сочувствовавших. Тайна такого успеха заключается, нам кажется, сколько непосредственно в силе художественного таланта автора, столько же и в необыкновенном богатстве содержания романа.

Может показаться странным, что мы находим особенное богатство содержания в романе, в котором, по самому характеру героя, почти вовсе нет действия. Но мы надеемся объяснить свою мысль в продолжение статьи, главная цель которой и состоит в том, чтобы высказать несколько замечаний и выводов, на которые, по нашему мнению, необходимо наводит содержание романа Гончарова.

«Обломов» вызовет, без сомнения, множество критик. Вероятно, будут между ними и корректурные, которые отыщут какие-нибудь погрешности в языке и слоге, и патетические, в которых будет много восклицаний о прелести сцен и характеров, и эстетично-аптекарьские, с строгою проверкою того, везде ли точно, по эстетическому рецепту, отпущено действующим лицам надлежащее количество таких-то и таких-то свойств и всегда ли эти лица употребляют их так, как сказано в рецепте. Мы не чувствуем ни малейшей охоты пускаться в подобные тонкости, да и читателям, вероятно, не будет особенного горя, если мы не станем убиваться над соображениями о том, вполне ли соответствует такая-то фраза характеру героя и его положению, или в ней надобно было несколько слов переставить, и т.п. Поэтому нам кажется несколько не предосудительным заняться более общими соображениями о содержании и значении романа Гончарова, хотя, конечно, *истые критики* и упрекнут нас опять, что статья наша написана не об Обломове, а только *по поводу* Обломова.

Нам кажется, что отношения к Гончарову более, чем в отношении ко всякому другому автору, критика обязана изложить общие результаты, выводимые из его произведения. Есть авторы, которые сами на себя берут этот труд, объясняясь с читателем относительно цели и смысла своих произведений. Иные и не высказывают категорически своих намерений, но так ведут весь рассказ, что он оказывается ясным и правильным олицетворением их мысли. У таких авторов каждая страница бьет на то, чтобы вразумить читателя, и много нужно недогадливости, чтобы не понять их... Зато плодом чтения их бывает более или менее полное (смотря по степени таланта автора) *согласие с идеею*, положенною в основание произведения. Остальное все улетучивается через два часа по прочтении книги. У Гончарова совсем не то. Он вам не дает, и, повидимому, не хочет дать, никаких выводов. Жизнь, им изображаемая, служит для него не средством к отвлеченной философии, а прямою целью сама по себе. Ему нет дела до читателя и до выводов, какие вы

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 5

сделаете из романа: это уж ваше дело. Ошибетесь — пеняйте на свою близорукость, а никак не на автора. Он представляет вам живое изображение и ручается только за его сходство с действительностью; а там уж ваше дело определить степень достоинства изображенных предметов: он к этому совершенно равнодушен. У него нет и той горячности чувства, которая иным талантам придает наибольшую силу и прелесть. Тургенев, например, рассказывает о своих героях, как о людях, близких ему, выхватывает из груди их горячее чувство и с нежным участием, с болезненным трепетом следит за ним, сам страдает и радуется вместе с лицами, им созданными, сам увлекается той поэтической обстановкой, которой любит всегда окружать их... И его увлечение заразительно: оно неотразимо овладевает к рассказу мыслью его и чувством, заставляет и его переживать, перечувствовать те моменты, в которых являются перед ним тургеневские лица. И пройдет много времени — читатель может забыть ход рассказа, потерять связь между подробностями происшествий, упустить из виду характеристику отдельных лиц и положений, может, наконец, позабыть все прочитанное; но ему все-таки будет памятно и дорого то живое, отрадное впечатление, которое он испытывал при чтении рассказа. У Гончарова нет ничего подобного. Талант его неподатлив на впечатление. Он не запоет лирической песни при взгляде на розу и соловья; он будет поражен ими, остановится, будет долго всматриваться и вслушиваться, задумается... Какой процесс в это время произойдет в душе его, этого нам не понять хорошенько... Но вот он начинает чертить что-то... Вы холодно всматриваетесь в неясные еще черты... Вот они делаются яснее, яснее, прекраснее... и вдруг, неизвестно каким чудом, из этих черт восстают перед вами и роза и соловей, со всей своей прелестью и обаянием. Вам рисуется не только их образ, вам чуется аромат розы, слышатся соловьиные звуки... Пойте лирическую песню, если роза и соловей могут возбуждать ваши чувства; художник начертил их и, довольный своим делом, отходит в сторону: более он ничего не прибавит... «И напрасно было бы прибавлять, — думает он, — если сам образ не говорит вашей душе, то что могут вам сказать слова?...»

В этом уменье охватить полный образ предмета, отчеканить, изваять его — заключается сильнейшая сторона таланта Гончарова. И ею он превосходит всех современных русских писателей. Из нее легко объясняются все остальные свойства его таланта. У него есть изумительная способность — во всякий данный момент остановить летучее явление жизни во всей его полноте и свежести и держать его перед собою до тех пор, пока оно не сделается полной принадлежностью художника. На всех нас падает светлый луч жизни, но он у нас тотчас же и исчезает, едва коснувшись нашего сознания. И за ним идут другие лучи, от других

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 6

предметов, и опять столь же быстро исчезают, почти не оставляя следа. Так проходит вся жизнь, скользя по поверхности нашего сознания. Не то у художника; он умеет уловить в каждом предмете что-нибудь близкое и родственное своей душе, умеет остановиться на том моменте, который чем-нибудь особенно поразил его. Смотря по свойству поэтического таланта и по степени его выработанности, сфера, доступная художнику, может суживаться или расширяться, впечатления могут быть живее или глубже; выражение их — страстнее или спокойнее. Нередко сочувствие поэта привлекается каким-нибудь одним качеством предметов, и это качество он старается вызывать и отыскивать всюду, в возможно полном и живом его выражении поставляет свою главную задачу, на него по преимуществу тратит свою художническую силу. Так являются художники, сливающие внутренний мир души своей с миром внешних явлений и видящие всю жизнь и природу под призмой господствующего в них самих настроения. Так, у одних все подчиняется чувству пластической красоты, у других — по преимуществу рисуются нежные и симпатичные черты, у иных во всяком образе, во всяком описании отражаются гуманные и социальные стремления и т.д. Ни одна из таких сторон не выдается особенно у Гончарова. У него есть другое свойство: спокойствие и полнота поэтического мирозерцания. Он ничем не увлекается всем одинаково. Он не поражается одной стороной предмета, одним моментом события, а вертит предмет со всех сторон, выжидает совершения всех моментов явления, и тогда уже приступает к их художественной переработке. Следствием этого является, конечно, в художнике более спокойное и беспристрастное отношение к изображаемым предметам, большая отчетливость в очертании даже мелочных подробностей и ровная доля внимания ко всем частностям рассказа.

Вот отчего некоторым кажется роман Гончарова растянутым. Он, если хотите, действительно растянут. В первой части Обломов лежит на диване; во второй едет к Ильинским и влюбляется в Ольгу, а она в него; в третьей она видит, что ошибалась в Обломове, и они расходятся; в четвертой она выходит замуж за друга его, Штольца, а он женится на хозяйке того дома, где нанимает квартиру. Вот и все. Никаких внешних событий, никаких препятствий (кроме разве разведения моста через Неву, прекратившего свидания Ольги с Обломовым), никаких посторонних обстоятельств не вмешивается в роман. Лень и апатия Обломова — единственная пружина действия во всей его истории. Как же это можно было растянуть на четыре части! Попадись эта тема другому автору, тот бы ее обделал иначе: написал бы страничек пятьдесят, легких, забавных, сочинил бы милый фарс, осмеял бы своего ленивца, восхитился бы Ольгой и Штольцом, да на том бы и покончил. Рассказ никак бы не был

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 7

скучен, хотя и не имел бы особенного художественного значения. Гончаров принялся за дело иначе. Он не хотел отстать от явления, на которое однажды бросил свой взгляд, не проследивши его до конца, не отыскавши его причин, не понявши связи его со всеми окружающими явлениями. Он хотел добиться того, чтобы случайный образ, мелькнувший перед ним, возвести в тип, придать ему родовое и постоянное значение. Поэтому во всем, что касалось Обломова, не было для него вещей пустых и ничтожных. Всем занялся он с любовью, все очертил подробно и отчетливо. Не только те комнаты, в которых жил Обломов, но и тот дом, в каком он только мечтал жить; не только халат его, но серый сюртук и щетинистые бакенбарды слуги его Захара; не только писание письма Обломовым, но и качество бумаги и чернил в письме старосты к нему — все приведено и изображено с полною отчетливостью и рельефностью. Автор не может пройти мимоходом даже какого-нибудь барона фон Лангвагена, не играющего никакой роли в романе; и о бароне напишет он целую прекрасную страницу, и написал бы две и четыре, если бы не успел исчерпать его на одной. Это, если хотите, вредит быстроте действия, утомляет безучастного читателя, требующего, чтоб его неудержимо завлекали сильными ощущениями. Но тем не менее в таланте Гончарова — это драгоценное свойство, чрезвычайно много помогающее художественности его изображений. Начиная читать его, находишь, что многие вещи как будто не соображены с вечными требованиями искусства. Но вскоре начинаешь сживаться с тем миром, который он изображает, невольно признаешь законность и естественность всех выводимых им явлений, сам становишься в положение действующих лиц и как-то чувствуешь, что на их месте и в их положении иначе и нельзя, да как будто и не должно действовать. Мелкие подробности, непрерывно вносимые автором и рисуемые им с любовью и с необыкновенным мастерством, производят наконец какое-то обаяние. Вы совершенно переноситесь в тот мир, в который ведет вас автор: вы находите в нем что-то родное, перед вами открывается не только внешняя форма, но и самая внутренность, душа каждого лица, каждого предмета. И после прочтения всего романа вы чувствуете, что в сфере вашей мысли прибавилось что-то новое, что к вам в душу глубоко запали новые образы, новые типы. Они вас долго преследуют, вам хочется думать над ними, хочется выяснить их значение и отношение к вашей собственной жизни, характеру, наклонностям. Куда денется ваша вялость и утомление; бодрость мысли и свежесть чувства пробуждаются в вас. Вы готовы снова перечитать многие страницы, думать над ними, спорить о них. Так, по крайней мере, на нас действовал Обломов: «Сон Обломова» и некоторые отдельные сцены мы прочли по нескольку раз; весь роман почти сплошь прочитали мы два раза, и во второй раз он

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 8

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 9

нам понравился едва ли не более, чем в первый. Такое обаятельное значение имеют эти подробности, которыми автор обставляет ход действия и которые, по мнению некоторых, *растягивают* роман!

Таким образом, Гончаров является перед нами прежде всего художником, умеющим выразить полноту явлений жизни. Изображение их составляет его призвание, его наслаждение; объективное творчество его не смущается никакими теоретическими предубеждениями и заданными идеями, не поддается никаким исключительным симпатиям. Оно спокойно, трезво, бесстрастно. Составляет ли это высший идеал художнической деятельности, или, может быть, это даже недостаток, обнаруживающий в художнике слабость восприимчивости? Категорический ответ затруднителен и во всяком случае был бы несправедлив, без ограничений и пояснений. Многим не нравится спокойное отношение поэта к действительности, и они готовы тотчас же произнести резкий приговор о несимпатичности такого таланта. Мы понимаем естественность подобного приговора, и, может быть, сами не чужды желания, чтобы автор побольше раздражал наши чувства, сильнее увлекал нас. Но мы сознаем, что желание это — несколько обломовское, происходящее от склонности иметь постоянно руководителей, — даже в чувствах. Приписывать автору слабую степень восприимчивости потому только, что впечатления не вызывают у него лирических восторгов, а молчаливо кроются в его душевной глубине, — несправедливо. Напротив, чем скорее и стремительнее высказывается впечатление, тем чаще оно оказывается поверхностным и мимолетным. Примеров мы видим множество на каждом шагу в людях, одаренных неистощимым запасом словесного и мимического пафоса. Если человек умеет выдержать, взлелеять в душе своей образ предмета и потом ярко и полно представить его, — это значит, что у него чуткая восприимчивость соединяется с глубиной чувства. Он до времени не высказывается, но для него ничто не пропадает в мире. Все, что живет и движется вокруг него, все, чем богата природа и людское общество, у него все это —

Как-то чудно
Живет в душевной глубине.

В нем, как в магическом зеркале, отражаются и по воле его останавливаются, застывают, отливаются в твердые недвижимые формы все явления жизни, во всякую данную минуту. Он может, кажется, остановить саму жизнь, навсегда укрепить и поставить перед нами самый неуловимый миг ее, чтобы мы вечно смотрели, поучаясь или наслаждаясь.

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 10

Такое могущество, в высшем своем развитии, *стоит*, разумеется, всего, что мы называем симпатичностью, прелестью, свежестью или энергией таланта. Но и это могущество имеет свои степени, и кроме того — оно может быть обращено на предметы различного рода, что тоже очень важно. Здесь мы расходимся с приверженцами так называемого *искусства для искусства*, которые полагают, что превосходное изображение древесного листочка столь же важно, как, например, превосходное изображение характера человека. Может быть, субъективно это будет и справедливо: собственно, сила таланта может быть одинакова у двух художников, и только сфера их деятельности различна. Но мы никогда не согласимся, чтобы поэт, тратящий свой талант на образцовые описания листочков и ручейков, мог иметь одинаковое значение с тем, кто с равной силой таланта умеет воспроизводить, например, явления общественной жизни. Нам кажется, что для критики, для литературы, для самого общества гораздо важнее вопрос о том, на что употребляется, в чем выражается талант художника, нежели то, какие размеры и свойства имеет он в самом себе, отвлечении, в возможности.

Как же выразился, на что потрагился талант Гончарова? Ответом на этот вопрос должен служить разбор содержания романа.

По-видимому, не обширную сферу избрал Гончаров для своих изображений. История о том, как лежит и спит добряк-ленивец Обломов и как ни дружба, ни любовь не могут пробудить и поднять его, — не бог весть какая важная история. Но в ней отразилась русская жизнь, в ней предстает перед нами живой, современный русский тип, отчеканенный с беспощадною строгостью и правильностью; в ней сказалось новое слово нашего общественного развития, произнесенное ясно и твердо, без отчаяния и без ребяческих надежд, но с полным сознанием истины. Слово это — *обломовщина*; оно служит ключом к разгадке многих явлений русской жизни, и оно придает роману Гончарова гораздо более общественного значения, нежели сколько имеют его все наши обличительные повести. В типе Обломова и во всей этой обломовщине мы видим нечто более, нежели просто удачное создание сильного таланта; мы находим в нем произведение русской жизни, знамение времени.

Обломов есть лицо не совсем новое в нашей литературе; но прежде оно не выставлялось пред нами так просто и естественно, как в романе Гончарова. Чтобы не заходить слишком далеко в старину, скажем, что родовые черты обломовского типа мы находим еще в Онегине, и затем несколько раз встречаем их повторение в лучших наших литературных произведениях. Дело в том, что это коренной, народный наш тип, от которого не мог отделаться ни один из наших серьезных художников. Но с течением времени, по мере сознательного развития общества, тип этот

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 11

изменял свои формы, становился в другие отношения к жизни, получал новое значение. Подметить эти новые фазы его существования, определить сущность его нового смысла — это всегда составляло громадную задачу, и талант, умевший сделать это, всегда делал существенный шаг вперед в истории нашей литературы. Такой шаг сделал и Гончаров своим «Обломовым». Посмотрим на главные черты обломовского типа и потом попробуем провести маленькую параллель между ним и некоторыми типами того же рода, в разное время появлявшимися в нашей литературе.

В чем заключаются главные черты обломовского характера? В совершенной инертности, происходящей от его апатии ко всему, что делается на свете. Причина же апатии заключается отчасти в его внешнем положении, отчасти же в образе его умственного и нравственного развития. По внешнему своему положению — он барин; «у него есть Захар и еще триста Захаров», по выражению автора. Преимущество своего положения Илья Ильич объясняет Захару таким образом:

Разве я мечусь, разве работаю? Мало ем, что ли? Худощав или жалок на вид? Разве недостает мне чего-нибудь? Кажется, подать, сделать есть кому! Я ни разу не натянул себе чулок на ноги, как живу, славу богу! Стану ли я беспокоиться? из чего мне?... И кому я это говорю? Не ты ли с детства ходил за мной? Ты ни голода никогда не терпел, нужды не знал, хлеба себе не зарабатывал и вообще черным делом не занимался.

И Обломов говорит совершенную правду. История его воспитания вся служит подтверждением его слов. С малых лет он привыкает быть байбаком благодаря тому, что у него и подать и сделать — есть кому; тут уж даже и против воли нередко он бездельничает и сибаритствует. Ну, скажите, пожалуйста, чего же бы вы хотели от человека, выросшего вот в каких условиях:

Захар — как, бывало, нянька, — натягивает ему чулки, надевает башмаки, а Илюша, уже четырнадцатилетний мальчик, только и знает, что подставляет ему, лежа, то то, то другую ногу; а чуть что покажется ему не так, то он поддаст Захарке ногой в нос. Если недовольный Захарка вздумает пожаловаться, то получит еще от старших колотушку. Потом Захарка чешет ему голову, натягивает куртку, осторожно продевая руки Ильи Ильича в рукава, чтоб не слишком беспокоить его, и напоминает Илье Ильичу, что надо сделать то, другое: вставши поутру — умыться и т.д.

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 12

Захочет ли чего-нибудь Илья Ильич, ему стоит только мигнуть — уж трое-четверо слуг кидаются исполнить его желание; уронит ли он что-нибудь, достать ли ему нужно вещь, да не достанет, принести ли что, сбегать ли за чем, — ему иногда, как резвому мальчику, так и хочется броситься и переделать все самому, а тут вдруг отец и мать да три тетки в пять голосов и закричат:

— Зачем? Куда? А Васька, а Ванька, а Захарка на что? Эй! Васька, Ванька, Захарка! Чего вы смотрите, разини? Вот я вас!

И не удастся никак Илье Ильичу сделать что-нибудь самому для себя. После он нашел, что оно и покойнее гораздо, и выучился сам покрикивать: «Эй, Васька, Ванька, подай то, дай другое! Не хочу того, хочу этого! Сбегай, принеси!»

Подчас нежная заботливость родителей и надоедала ему. Побежит ли он с лестницы или по двору, вдруг вслед ему раздается десять отчаянных голосов: «Ах, ах! подержите, остановите! упадет, расшибется! Стой, стой!» Задумает ли он выскочить зимой в сени или отворить форточку, — опять крики: «Ай, куда? как можно? Не бегай, не ходи, не отворяй: убьешься, простудишься. . .» И Илюша с печалью оставался дома, лелеемый, как экзотический цветок в теплице, и так же, как последний под стеклом, он рос медленно и вяло. Ищущие проявления силы обращались внутрь и никли увядая.

Такое воспитание вовсе не составляет чего-нибудь исключительного, странного в нашем образованном обществе. Не везде, конечно, Захарка натягивает чулки барчонку и т.п. Но не нужно забывать, что подобная льгота дается Захарке по особому снисхождению и вовсе не находится в гармонии с общим ходом домашних дел. Барчонок, пожалуй, и сам оденется; но он знает, что это для него вроде милого развлечения, прихоти, а в сущности, он вовсе не обязан этого делать сам. Да и вообще ему самому нет надобности что-нибудь делать. Из чего ему биться? Некому, что ли, подать и сделать для него все, что ему нужно? . . . Поэтому он себя над работой убивать не станет, что бы ему ни толковали о необходимости и святости труда: он с малых лет видит в своем доме, что все домашние работы исполняются лакеями и служанками, а папенька и маменька только распоряжаются да бранятся за дурное исполнение. И вот у него уже готово первое понятие — что сидеть сложа руки почетнее, нежели суетиться с работою. . . В этом направлении идет и все дальнейшее развитие.

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 13

Понятно, какое действие производится таким положением ребенка на все его нравственное и умственное образование. Внутренние силы «никнут и увядают» по необходимости. Если мальчик и пытается их иногда, то разве в капризах и в заносчивых требованиях исполнения другими его приказаний. А известно, как удовлетворенные капризы развивают бесхарактерность и как заносчивость несовместна с умением серьезно поддерживать свое достоинство. Привыкая предъявлять бестолковые требования, мальчик скоро теряет меру возможности и удобоисполнимости своих желаний, лишается всякого умения соображать средства с целями и потому становится в тупик при первом препятствии, для отстранения которого нужно употребить собственное усилие. Когда он вырастает, он делается Обломовым, с большей или меньшей долей его апатичности и бесхарактерности, под более или менее искусной маской, но всегда с одним неизменным качеством — отвращением от серьезной и самобытной деятельности.

Много помогает тут и умственное развитие Обломовых, тоже, разумеется, направляемое их внешним положением. Как в первый раз они взглянут на жизнь наыворот, — так уж потом до конца дней своих и не могут достигнуть разумного понимания своих отношений к миру и к людям. Им потом и растолкуют многое, они и поймут коечто, но с детства укоренившееся воззрение все-таки удержится где-нибудь в уголку и беспрестанно выглядывает оттуда, мешая всем новым понятиям и не допуская их уложиться на дно души. . . И делается в голове какой-то хаос: иной раз человеку и решимость придет сделать что-нибудь, да не знает он, что ему начать, куда обратиться. . . И не мудрено: нормальный человек всегда хочет только того, что может сделать; зато он немедленно и делает все, что захочет. . . А Обломов. . . он не привык делать что-нибудь, следовательно, не может хорошенько определить, что он может сделать и чего нет, — следовательно, не может и серьезно, *дейтельно* захотеть чего-нибудь. . . Его желания являются только в форме: «а хорошо бы, если бы вот это сделалось»; но как это может сделаться — он не знает. Оттого он любит помечтать и ужасно боится того момента, когда мечтания придут в соприкосновение с действительностью. Тут он старается взвалить дело на кого-нибудь другого, а если нет никого, то на *авось*. . .

Все эти черты превосходно подмечены и с необыкновенной силой и истиной сосредоточены в лице Ильи Ильича Обломова. И нужно представлять себе, чтобы Илья Ильич принадлежал к какой-нибудь особенной породе, в которой бы неподвижность составляла существенную, коренную черту. Несправедливо было бы думать, что он от природы лишен способности произвольного движения. Вовсе нет: от природы он — чело-

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 14

век, как и все. В ребячестве ему хотелось побегать и поиграть в снежки с ребятами, достать самому то или другое, и в овраг сбегать, и в ближайший березняк пробраться через канал, плетни и ямы. Пользуясь часом общего в Обломовке послеобеденного сна, он разминался, бывало: «...взбегал на галерею (куда не позволялось ходить, потому что она каждую минуту готова была развалиться), обегал по скрипучим доскам кругом, лазил на голубятню, забирался в глушь сада, слушал, как жужжит жук, и далеко следил глазами его полет в воздухе». А то — «забирался в канал, рылся, отыскивал какие-то корешки, очищал от коры и ел всласть, предпочитая яблокам и варенью, которые дает маменька». Все это могло служить задатком характера кроткого, спокойного, но не бессмысленно-ленивого. Притом и кротость, переходящая в робость, и подставление спины другим, — есть в человеке явление вовсе не природное, а чисто благоприобретенное, точно так же, как и нахальство и заносчивость. И между обоими этими качествами расстояние вовсе не так велико, как обыкновенно думают. Никто не умеет так отлично вздергивать носа, как лакеи; никто так грубо не ведет себя с подчиненными, как те, которые подличают перед начальниками. Илья Ильич, при всей своей кротости, не боится поддать ногой в рожу обувающему его Захару, и если он в своей жизни не делает этого с другими, так единственно потому, что надеется встретить противодействие, которое нужно будет преодолеть. Поневоле он ограничивает круг своей деятельности тремястами своих Захаров. А будь у него этих Захаров во сто, в тысячу раз больше — он бы не встречал себе противодействий и приучился бы довольно смело поддавать в зубы каждому, с кем случится иметь дело. И такое поведение вовсе не было бы у него признаком какого-нибудь зверства натуры; и ему самому и всем окружающим оно казалось бы очень естественным, необходимым. . . никому бы и в голову не пришло, что можно и должно вести себя как-нибудь иначе. Но — к несчастью или к счастью — Илья Ильич родился помещиком средней руки, получал дохода не более десяти тысяч рублей на ассигнации и вследствие того мог распоряжаться судьбами мира только в своих мечтаниях. Зато в мечтах своих он и любил предаваться воинственным и героическим стремлениям. «Он любил иногда вообразить себя каким-нибудь непобедимым полководцем, пред которым не только Наполеон, но и Еруслан Лазеревич ничего не значит; выдумает войну и причину ее: у него хлынут, например, народы из Африки в Европу, или устроит он новые крестовые походы и воюет, решает участь народов, разоряет города, щадит, казнит, оказывает подвиги добра и великодушия». А то он вообразит, что он великий мыслитель или художник, что за ним гоняется толпа и все поклоняются ему. . . Ясно, что Обломов не тупая, апатическая натура, без стремлений и чувств, а человек, тоже

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 15

чего-то ищущий в своей жизни, о чем-то думающий. Но гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от других, — развила в нем апатическую неподвижность и повергла его в жалкое состояние нравственного рабства. Рабство это так переплетается с барством Обломова, так они взаимно проникают друг друга и одно другим обуславливаются, что, кажется, нет ни малейшей возможности провести между ними какую-нибудь границу. Это нравственное рабство Обломова составляет едва ли не самую любопытную сторону его личности и всей его истории. . . Но как мог дойти до рабства человек с таким независимым положением, как Илья Ильич? Кажется, кому бы и наслаждаться свободой, как не ему? Не служит, не связан с обществом, имеет обеспеченное состояние. . . Он сам хватился тем, что не чувствует надобности кланяться, просить, унижаться, что он не подобен «другим», которые работают без устали, бегают, суетятся, — а не поработают, так и не поедят. . . Он внушает к себе благоговейную любовь доброй вдовы Пшеницыной именно тем, что он *барин*, что он сияет и блещет, что он и ходит и говорит так вольно и независимо, что он «не пишет беспрестанно бумаг, не трясется от страха, что опоздает в должность, не глядит на всякого так, как будто просит оседлать его и поехать, а глядит на всех и на все так смело и свободно, как будто требует покорности себе». И, однако же, вся жизнь этого барина убита тем, что он постоянно остается рабом чужой воли и никогда не возвышается до того, чтобы проявить какую-нибудь самобытность. Он раб каждой женщины, каждого встречного, раб каждого мошенника, который захочет взять над ним волю. Он раб своего крепостного Захара, и трудно решить, который из них более подчиняется власти другого. По крайней мере — чего Захар не захочет, того Илья Ильич не может заставить его сделать, а чего захочет Захар, то сделает и против воли барина, и барин покорится. . . Оно так и следует: Захар все-таки умеет сделать хоть что-нибудь, а Обломов ровно ничего не может и не умеет. Нечего уже и говорить о Тарантьеве и Иване Матвейиче, которые делают с Обломовым что хотят, несмотря на то, что сами и по умственному развитию и по нравственным качествам гораздо ниже его. . . Отчего же это? Да все оттого, что Обломов как барин не хочет и не умеет работать и не понимает настоящих отношений своих ко всему окружающему. Он не прочь от деятельности — до тех пор, пока она имеет вид призрака и далека от реального осуществления: так, он создает план устройства имения и очень усердно занимается им, — только «подробности, сметы и цифры» пугают его и постоянно отбрасываются им в сторону, потому что где же ему с ними возиться! . . . Он — барин, как объясняет сам Ивану Матвейичу: «Кто я, что такое? спросите вы. . . Подите, спросите у Захара, и он скажет вам: «барин!» Да, я барин и де-

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 16

лать ничего не умею! Делайте вы, если знаете, и помогите, если можете, а за труд возьмите себе, что хотите: — на то наука!» И вы думаете, что он этим хочет только отделаться от работы, старается прикрыть незнанием свою лень? Нет, он действительно не знает и не умеет ничего, действительно не в состоянии приняться ни за какое путное дело. Относительно своего имения (для преобразования которого сочинил уже план) он таким образом признается в своем неведении Ивану Матвейчу: «Я не знаю, что такое барщина, что такое сельский труд, что значит бедный мужик, что богатый; не знаю, что значит четверть ржи или овса, что она стоит, в каком месяце и что сеют и жнут, как и когда продают; не знаю, богат ли я или беден, буду ли я через год сыт или буду нищий — я ничего не знаю!... Следовательно, говорите и советуйте мне, как ребенку...» Иначе сказать: будьте надо мною господином, распоряжайтесь моим добром, как вздумаете, уделяйте мне из него, сколько найдете для себя удобным... Так на деле-то и вышло: Иван Матвейч совсем было прибрал к рукам имение Обломова, да Штольц помешал, к несчастью.

И ведь Обломов не только своих сельских порядков не знает, не только положения своих дел не понимает: это бы еще куда ни шло!... Но вот в чем главная беда: он и вообще жизни не умел осмыслить для себя. В Обломовке никто не задавал себе вопроса: зачем жизнь, что она такое, какой ее смысл и назначение? Обломовцы очень просто понимали ее, «как идеал покоя и бездействия, нарушаемого по временам разными неприятными случайностями, как-то: болезнями, убытками, ссорами и, между прочим, трудом. Они сносили труд как наказание, наложенное еще на праотцев наших, но любить не могли, и где был случай, всегда от него избавлялись, находя это возможным и должным». Точно так относился к жизни и Илья Ильич. Идеал счастья, нарисованный им Штольцу, заключался ни в чем другом, как в сытной жизни, — с оранжереями, парниками, поездками с самоваром в рощу и т.п. — в халате, в крепком сне, да для промежуточного отдыха — в идиллических прогулках с кроткою, но дебелою женою и в созерцании того, как крестьяне работают. Рассудок Обломова так успел с детства сложиться, что даже в самом отвлеченном рассуждении, в самой утопической теории имел способность останавливаться на данном моменте и затем не выходить из этого *statu quo*, несмотря ни на какие убеждения. Рисуя идеал своего блаженства, Илья Ильич не думал спросить себя о внутреннем смысле его, не думал утвердить его законность и правду, не задал себе вопроса: откуда будут браться эти оранжереи и парники, кто их станет поддерживать и с какой стати будет он ими пользоваться?... Не задавая себе подобных вопросов, не разъясняя своих отношений к миру и к обществу, Обломов, разумеется, не мог осмыслить своей жизни и потому тяготил-

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 17

ся и скучал от всего, что ему приходилось делать. Служил он — и не мог понять, зачем это бумаги пишутся; не понявши же, ничего лучше не нашел, как выйти в отставку и ничего не писать. Учился он — и не знал, к чему может послужить ему наука; не узнавши этого, он решился сложить книги в угол и равнодушно смотреть, как их покрывает пыль. Выезжал он в общество — и не умел себе объяснить, зачем люди в гости ходят; не объяснивши, он бросил все свои знакомства и стал по целым дням лежать у себя на диване. Сходилась он с женщинами, но подумал: однако чего же от них ожидать и добиваться? подумавши же, не решил вопроса и стал избегать женщин. . . Все ему наскучило и опостылело, и он лежал на боку, с полным, сознательным презрением к «муравьиной работе людей», убивающихся и суеющихся бог весть из-за чего. . .

Дойдя до этой точки в объяснении характера Обломова, мы находим уместным обратиться к литературной параллели, о которой упомянули выше. Предыдущие соображения привели нас к тому заключению, что Обломов не есть существо, от природы совершенно лишенное способности произвольного движения. Его лень и апатия есть создание воспитания и окружающих обстоятельств. Главное здесь не Обломов, а обломовщина. Он бы, может быть, стал даже и работать, если бы нашел дело по себе, но для этого, конечно, ему надо было развиваться несколько под другими условиями, нежели под какими он развился. В настоящем же своем положении он не мог нигде найти себе дела по душе, потому что вообще не понимал смысла жизни и не мог прийти до разумного воззрения на свои отношения к другим. Здесь-то он и подает нам повод к сравнению с прежними типами лучших наших писателей. Давно уже замечено, что все герои замечательнейших русских повестей и романов страдают оттого, что не видят цели в жизни и не находят себе приличной деятельности. Вследствие того они чувствуют скуку и отвращение от всякого дела, в чем представляют разительное сходство с Обломовым. В самом деле — раскройте, например, «Онегина», «Героя нашего времени», «Кто виноват», «Рудина», или «Лишнего человека», или Гамлета Щигровского уезда, — в каждом из них вы найдете черты, почти буквально сходные с чертами Обломова.

Онегин, как Обломов, оставляет общество, затем, что его

Измены утомить успели
Друзья и дружба надоели.

И вот он занялся писаньем:

Отступник бурных наслаждений,

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 18

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 19

Онегин дома заперся,
 Зевая, за перо взялся,
 Хотел писать, но труд упорный
 Ему был тошен; ничего
 Не вышло из пера его. . .

На этом же поприще подвизался и Рудин, который любил читать избранным «первые страницы предполагаемых статей и сочинений своих». Тентетников тоже много лет занимался «колоссальным сочинением, долженствовавшим обнять всю Россию со всех точек зрения»; но и у него «предприятие больше ограничивалось одним обдумыванием: изгрызалось перо, являлись на бумаге рисунки, и потом все это отодвигалось в сторону». Илья Ильич не отстал в этом от своих собратий: он тоже писал и переводил, — Сэя даже переводил. «Где же твои работы, твои переводы?» — спрашивает его потом Штольц. — «Не знаю, Захар куда-то дел; в углу, должно быть, лежат», — отвечает Обломов. Выходит, что Илья Ильич даже больше, может быть, сделал, чем другие, принимавшиеся за дело с такой же твердой решимостью, как и он. . . А принимались за это дело почти все братцы обломовской семьи, несмотря на разницу своих положений и умственного развития. Печорин только смотрел свысока на «поставщиков повестей и сочинителей мещанских драм»; впрочем, и он писал свои записки. Что касается Бельтова, то он, наверное, сочинял что-нибудь, да еще, кроме того, артистом был, ходил в Эрмитаж и сидел за мольбертом, обдумывал большую картину встречи Бирона, едущего из Сибири, с Минихом, едущим в Сибирь. . . Что из всего этого вышло, известно читателям. . . Во всей семье та же обломовщина. . .

Относительно «присвоения себе чужого ума», то есть чтения, Обломов тоже не много расходится с своими братьями. Илья Ильич читал тоже кое-что и читал не так, как покойный батюшка его: «Давно, говорит, не читал книги»; «дай-ко, почитаю книгу», — да и возьмет, какая под руку попадет. . . Нет, веяние современного образования коснулось и Обломова; он уже читал по выбору, сознательно. «Услышит о каком-нибудь замечательном произведении, — у него явится позыв познакомиться с ним; он ищет, просит книги, и, если принесут скоро, он примется за нее, у него начнет формироваться идея о предмете; еще шаг, и он овладел бы им, а посмотришь, он уже лежит, глядя апатически в потолок, а книга лежит подле него недочитанная, непонятая. . . Охлаждение овладевало им еще быстрее, нежели увлечение: он уже никогда не возвращался к покинутой книге». Не то ли же самое было и с другими? Онегин, думая себе присвоить у м чужой, начал с того, что

Отрядом книг уставил полку,

и принялся читать. Но толку не вышло никакого: чтение скоро ему надоело, и —

Как женщин, он оставил книги
И полку, с пыльной их семьей,
Задернул траурной тафтой.

Тентетников тоже так читал книги (благо, он привык их всегда иметь под рукой), — большею частью во время обеда: «с супом, с соусом, с жарким и даже с пирожным». . . Рудин тоже признается Лежневу, — что накопил он себе каких-то агрономических книг, но ни одной до конца не прочел; сделался учителем, да нашел, что фактов знал маловато и даже на одном памятнике XVI столетия был сбит учителем математики. И у него, как у Обломова, принимались легко только общие идеи, а «подробности, сметы и цифры» постоянно оставались в стороне.

«Но ведь это еще не жизнь, — это только приготовлени к жизни», — думал Андрей Иванович Тентетников, проходивший, вместе с Обломовым и всей этой компанией, тьму ненужных наук и не умевший ни йоты из них применить к жизни. «Настоящая жизнь — это служба». И все наши герои, кроме Онегина и Печорина, служат, и для всех их служба — ненужное и не имеющее смысла бремя; и все они оканчивают благородной и ранней отставкой. Бельтов четырнадцать лет и шесть месяцев не дослужил до пряжки, потому что, погорячившись сначала, вскоре охладел к канцелярским занятиям, стал раздражителен и небрежен. . . Тентетников поговорил крупно с начальником, да притом же хотел принести пользу государству, лично занявшись устройством своего имения. Рудин поссорился с директором гимназии, где был учителем. Обломову не понравилось, что с начальником все говорят «не своим голосом, а каким-то другим, тоненьким и гадким»; — он не захотел этим голосом объясняться с начальником по тому поводу, что «отправил нужную бумагу вместо Астрахани в Архангельск», и подал в отставку. . . Везде все одна и та же обломовщина. . .

В домашней жизни обломовцы тоже очень похожи друг на друга:

Прогулки, чтение, сон глубокий,
Лесная тень, журчанье струй,
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 21

Уединенье, тишина, —
Вот жизнь Онегина святая. . .

То же самое, слово в слово, за исключением коня, рисуется у Ильи Ильича в идеале домашней жизни. Даже поцелуй черноокой белянки не забыт у Обломова. «Одна из крестьянок, — мечтает Илья Ильич, — с загорелой шеей, с открытыми локтями, с робко опущенными, но лукавыми глазами, чуть-чуть, для виду только, обороняется от барской ласки, а сама счастлива. . . тс. . . жена чтоб не увидела, боже сохрани!» (Обломов воображает себя уже женатым). . . И если б Илье Ильичу не лень было уехать из Петербурга в деревню, он непременно привел бы в исполнение задуманную свою идиллию. Вообще обломовцы склонны к идиллическому, бездейственному счастью, которое ничего от них не требует: «наслаждайся, мол, мною, да и только». . . Уж на что кажется, Печорин, а и тот полагает, что счастье-то, может быть, заключается в покое и сладком отдыхе. Он в одном месте своих записок сравнивает себя с человеком, томимым голодом, который «в изнеможении засыпает и видит пред собою роскошные кушанья и шипучие вина; он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче. . . но только проснулся, мечта исчезает, остается удвоенный голод и отчаяние. . .» В другом месте Печорин себя спрашивает: «Отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное?» Он сам полагает — оттого, что «душа его сжилась с бурями и жаждет кипучей деятельности». . . Но ведь он вечно недоволен своей борьбой, и сам же беспрестанно высказывает, что все свои дрянные дебоширства затевает потому только, что ничего лучшего не находить делать. А уж коли не находит дела и вследствие того ничего не делает и ничем не удовлетворяется, так это значит, что к безделью более склонен, чем к делу. . . Та же обломовщина. . .

Отношения к людям и в особенности к женщинам тоже имеют у всех обломовцев некоторые общие черты. Людей они вообще презирают с их мелким трудом, с их узкими понятиями и близорукими стремлениями. «Это все чернорабочие», — небрежно отзывается даже Бельтов, гуманнейший между ними. Рудин наивно воображает себя гением, которого никто не в состоянии понять. Печорин, уж разумеется, топчет всех ногами. Даже Онегин имеет за собою два стиха, гласящие, что

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей.

Тентетников даже, — уж на что смиренный, — и тот, пришедши в департамент, почувствовал, что «как будто его за проступок перевели из

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 22

верхнего класса в нижний»; а приехавши в деревню, скоро постарался, подобно Онегину и Обломову, разнакомиться со всеми соседями, которые поспешили с ним познакомиться. И наш Илья Ильич не уступит никому в презрении к людям: оно ведь так легко, для него даже усилий никаких не нужно. Он самодовольно проводит перед Захаром параллель между собой и «другими»; он в разговорах с приятелями выражает наивное удивление, из-за чего это люди бьются, заставляя себя ходить в должность, писать, следить за газетами, посещать общество и пр. Он даже весьма категорически выражает Штольцу сознание своего превосходства над всеми людьми. «Жизнь, говорит, в обществе? Хороша жизнь! Чего там искать? Интересов ума, сердца? Ты посмотри, где центр, около которого вращается все это: нет его, нет ничего глубокого, задевающего за живое. Все это мертвецы, спящие люди, хуже меня, эти члены света и общества!...» И затем Илья Ильич очень пространно и красноречиво говорит на эту тему, так что хоть бы Рудину так поговорить.

В отношении к женщинам все обломовцы ведут себя одинаково постыдным образом. Они вовсе не умеют любить и не знают, чего искать в любви, точно так же, как и вообще в жизни. Они не прочь пококетничать с женщиной, пока видят в ней куклу,двигающуюся на пружинках; не прочь они и поработить себе женскую душу... как же! этим бывает очень довольна их барственная натура! Но только чуть дело дойдет до чего-нибудь серьезного, чуть они начнут подозревать, что пред ними действительно не игрушка, а женщина, которая может и от них потребовать уважения к своим правам, — они немедленно обращаются в постыднейшее бегство. Трусость у всех этих господ непомерная: Онегин, который так «рано умел тревожить сердца кокеток записных», который женщин «искал без упоенья, а оставлял без сожаленья», — Онегин струсил перед Татьяной, дважды струсил — в то время, когда принимал от нее урок, и тогда, как сам ей давал его. Она ему ведь нравилась с самого начала, и если бы любила менее серьезно, он не подумал бы принять с нею тон строгого нравоучителя. А тут он увидел, что шутить опасно, и потому начал толковать о своей отжитой жизни, о дурном характере, о том, что она другого полюбит впоследствии, и т.д. Впоследствии он сам объясняет свой поступок тем, что, «замея искру нежности в Татьяне, он не хотел ей верить» и что

Свою постылую свободу
Он потерять не захотел.

А какими фразами-то прикрыл себя, малодушный!

Бельтов с Круциферской, как известно, тоже не посмел идти до конца и убежал от нее, хотя и по совершенно другим соображениям, если ему

только верить. Рудин — этот уже совершенно растерялся, когда Наталья хотела от него добиться чего-нибудь решительного. Он ничего более не сумел, как только посоветовать ей «покориться». На другой день он остроумно объяснил ей в письме, что ему «было не в привычку» иметь дело с такими женщинами, как она. Таким же оказывается и Печорин, специалист по части женского сердца, признающийся, что, кроме женщин, он ничего в свете не любил, что для них он готов пожертвовать всем на свете. И он признается, что, во-первых, «не любит женщин с характером: их ли это дело!» — во-вторых, что он никогда не может жениться. «Как бы страстно я ни любил женщину, — говорит он, — но если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться, — прости, любовь. Мое сердце превращается в камень, и ничто не разогреет его снова. Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту, но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? Что мне в ней? куда я себя готовлю? чего я жду от будущего? Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страх, неизъяснимое предчувствие» и т.д. А в сущности, это — больше ничего, как обломовщина.

А Илья Ильич разве, вы думаете, не имеет в себе, в свою очередь, печоринского и рудинского элемента, не говоря об онегинском? Еще как имеет-то! Он, например, подобно Печорину, хочет непременно *обладать* женщиной, хочет вынудить у нее всяческие жертвы в доказательство любви. Он, видите ли, не надеялся сначала, что Ольга пойдет за него замуж, и с робостью предложил ей быть его женой. Она ему сказала что-то вроде того, что это давно бы ему следовало сделать. Он пришел в смущение, ему стало не довольно согласия Ольги, и он — что бы вы думали?... он начал — пытаться ее, столько ли она его любит, чтобы быть в состоянии сделаться его любовницей! И ему стало досадно, когда она сказала, что никогда не пойдет по этому пути; но затем ее объяснение и страстная сцена успокоили его... А все-таки он струсил под конец до того, что даже на глаза Ольге боялся показаться, прикидывался больным, прикрывал себя разведенным мостом, давал понять Ольге, что она его может компрометировать, и т.д. И все отчего? — оттого, что она от него потребовала решимости, дела, того, что не входило в его привычки. Женитьба сама по себе не страшила его так, как страшила Печорина и Рудина; у него более патриархальные были привычки. Но Ольга захотела, чтоб он пред женитбой устроил дела по имению; это уж была бы *жертва*, и он, конечно, этой жертвы не совершил, а явился настоящим Обломовым. А сам между тем очень требователен. Он сделал с Ольгой такую штуку, какая и Печорину впору была бы. Ему вообразилось, что он не довольно хорош собою и вообще не довольно привлекателен для

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 24

того, чтобы Ольга могла сильно полюбить его. Он начинает страдать, не спит ночь, наконец вооружается энергией и строчит к Ольге длинное рудинское послание, в котором повторяет известную тертую и перетертую вещь, говоренную и Онегиным Татьяне, и Рудиным Наталье, и даже Печориным княжне Мери: «Я, дескать, не так создан, чтобы вы могли быть со мною счастливы, придет время, вы полюбите другого, более достойного».

Сменит не раз младая дева
 Мечтами легкие мечты. . .
 Полюбите вы снова: но. . .
 Учитесь властвовать собою;
 К беде неопытность ведет.
 Не всякий вас, как я, поймет. . .

Н.А. Добролюбов:
 «Литературная
 критика»
 (Москва 1979)
 стр. 25

Все обломовцы любят уничивать себя; но это они делают с той целью, чтоб иметь удовольствие быть опровергнутыми и услышать себе похвалу от тех, пред кем они себя ругают. Они довольны своим самоунижением, и все похожи на Рудина, о котором Пигасов выражается: «Начнет себя бранить, с грязью себя смешает, — ну, думаешь, теперь на свет божий глядеть не станет. Какое! повеселеет даже, словно горькой водкой себя попотчевал!» Так и Онегин после ругательств на себя рисуется пред Татьяной своим великодушием. Так и Обломов, написавши к Ольге пасквиль на самого себя, чувствовал, «что ему уж не тяжело, что он почти счастлив». . . Письмо свое он заключает тем же нравоучением, как и Онегин свою речь: «История со мною пусть, говорит, послужит вам руководством в будущей, нормальной любви», и пр. Илья Ильич, разумеется, не выдержал себя на высоте уничижения перед Ольгой: он бросился подсмотреть, какое впечатление произведет на нее письмо, увидел, что она плачет, удовлетворился и — не мог удержаться, чтобы не предстать пред ней в сию критическую минуту. А она доказала ему, каким он пошлым и жалким эгоистом явился в этом письме, написанном «из заботы об ее счастье». Тут уже он окончательно спасовал, как делают, впрочем, все обломовцы, встречая женщину, которая выше их по характеру и по развитию.

«Однако же, — возопиют глубокомысленные люди — в вашей параллели, несмотря на подбор, видимо, одинаковых фактов, совсем нет смысла. При определении характера не столько важны внешние проявления, сколько побуждения, вследствие которых то или другое делается человеком. А относительно побуждений, вследствие которых то или другое делается человеком. А относительно побуждений, как же не видеть

неизмеримой разницы между поведением Обломова и образом действий Печорина, Рудина и других?... Этот все делает по инерции, потому что ему лень самому с места двинуться и лень упереться на месте, когда его тащат, вся его цель состоит в том, чтобы лишний раз пальцем не пошевелить. А те скупаются жаждою деятельности, с жаром за все принимаются, ими беспрестанно

Овладевает беспокойство,
Охота к перемене мест

и другие недуги, признаки сильной души. Если они и не делают ничего истинно полезного, так это потому, что не находят деятельности, соответствующей своим силам. Они, по выражению Печорина, подобны гению, прикованному к чиновничьему столу и осужденному переписывать бумаги. Они выше окружающей их действительности и потому имеют право презирать жизнь и людей. Вся их жизнь есть отрицание в смысле реакции существующему порядку вещей; а его жизнь есть пассивное подчинение существующим уже влияниям, консервативное отвращение от всякой перемены, совершенный недостаток внутренней реакции в натуре. Можно ли сравнивать этих людей? Рудина ставить на одну доску с Обломовым!... Печорина осуждать на то же ничтожество, в каком погрязает Илья Ильич!... Это совершенное непонимание, это нелепость, — это преступление!...» Ах, боже мой! В самом деле — мы ведь и позабыли, что с глубокомысленными людьми надо держать ухо востро: как раз выведут такие заключения, о которых вам даже и не снилось. Если вы собираетесь купаться, а глубокомысленны человек, стоя на берегу со связанными руками, хвастается тем, что он отлично плавает и обещает спасти вас, когда вы станете тонуть, — бойтесь сказать: «Да помилуй, любезный друг, у тебя ведь руки связаны; позаботься прежде о том, чтоб развязать себе руки». Бойтесь говорить это, потому что глубокомысленный человек сейчас же ударится в амбицию и скажет: «А, так вы утверждаете, что я не умею плавать! Вы хвалите того, кто связал мне руки! Вы не сочувствуете людям, которые спасают утопающих!...» И так далее... глубокомысленные люди бывают очень красноречивы и обильны на выводы самые неожиданные... Вот и теперь: сейчас выведут заключение, что мы Обломова хотели поставить выше Печорина и Рудина, что мы хотели оправдать его лежанье, что мы не умеем видеть внутреннего, коренного различия между ним и прежними героями, и т.д. Поспешим же объясниться с глубокомысленными людьми.

Во всем, что мы говорили, мы имели в виду более обломовщину, нежели личность Обломова и других героев. Что касается до личности, то

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 26

мы не могли не видеть разницы темперамента, например, у Печорина и Обломова, так же точно, как не можем не найти ее и у Печорина с Онегиным, и у Рудина с Бельтовым. . . Кто же станет спорить, что личная разница между людьми существует (хотя, может быть, и далеко не в той степени и не с тем значением, как обыкновенно предполагают). Но дело в том, что над всеми этими лицами тяготеет одна и та же обломовщина, которая кладет на них неизгладимую печать бездельничества, дармоедства и совершенной ненужности на свете. Весьма вероятно, что при других условиях жизни, в другом обществе, Онегин был бы истинно добрым малым, Печорин и Рудин делали бы великие подвиги, а Бельтов оказался бы действительно превосходным человеком. Но при других условиях развития, может быть, и Обломов с Тентетниковым не были бы такими байбаками, а нашли бы себе какое-нибудь полезное занятие. . . Дело в том, что теперь-то у них всех одна общая черта — бесплодное стремление к деятельности, сознание, что из них многое могло бы выйти, но не выйдет ничего. . . В этом они поразительно сходятся. «Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился? . . . А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные. Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, — лучший цвет жизни». Это — Печорин. . . А вот как рассуждает о себе Рудин: «Да, природа мне много дала; но я умру, не сделав ничего достойного сил моих, не оставив за собою никакого благотворного следа. Все мое богатство пропадет даром: я не увижу плодов от семян своих. . . » Илья Ильич тоже не отстает от прочих: и он «болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее, светлое начало, может быть, теперь уже умершее, или лежит оно, как золото в недрах горы, и давно пора бы этому золоту быть ходячей монетой. Но глубоко и тяжело завален клад дрянью, наносным сором. Кто-то будто украл и закопал в собственной его душе принесенные ему в дар миром и жизнью сокровища». Видите — *сокровища* были зарыты в его натуре, только раскрыть их пред миром он никогда не мог. Другие братья его, помоложе, «по свету рыщут»,

Дела себе исполинского ищут,
 Благо наследье богатых отцов
 Освободило от малых трудов. . .

Обломов тоже мечтал в молодости «служить, пока станет сил, потому что России нужны руки и головы для разработывания неистощимых

Н.А. Добролюбов:
 «Литературная
 критика»
 (Москва 1979)
 стр. 27

Н.А. Добролюбов:
 «Литературная
 критика»
 (Москва 1979)
 стр. 28

источников». . . Да и теперь он «не чужд всеобщих человеческих скорбей, ему доступны наслаждения высоких помыслов», и хотя он не рыщет по свету за исполинским делом, но все-таки мечтает о всемирной деятельности, все-таки с презрением смотрит на чернорабочих и с жаром говорит:

Нет, я души не растрочу моей
На муравьиной работе людей. . .

А бездельничает он ничуть не больше, чем все остальные братья обломовцы; только он откровеннее — не старается прикрыть своего безделья даже разговорами в обществах и гуляньем по Невскому проспекту.

Но отчего же такая разница впечатлений, производимых на нас Обломовым и героям, о которых мы вспоминали выше? Те представляются нам в разных родах сильными натурами, задавленными неблагоприятной обстановкой, а этот — байбаком, который и при самых лучших обстоятельствах ничего не сделает. Но, во-первых, — у Обломова темперамент слишком вялый, и потому естественно, что он для осуществления своих замыслов и для отпора враждебных обстоятельств употребляет еще несколько менее попыток, нежели сангвинический Онегин или желчный Печорин. В сущности же они все равно несостоятельны пред силою враждебных обстоятельств, все равно погружаются в ничтожество, когда им предстоит настоящая, серьезная деятельность. В чем обстоятельства Обломова открывали ему благоприятное поле деятельности? У него было имение, которое мог он устроить; был друг, вызывавший его на практическую деятельность; была женщина, которая превосходила его энергией характера и ясностью взгляда и которая нежно полюбила его. . . Да скажите, у кого, же из обломовцев не было всего этого, и что все они из этого сделали? И Онегин и Тентетников хозяйничали в своем имении, и о Тентетникове мужики даже говорили сначала: «Экой востроногий!» Но скоро те же мужики смекнули, что барин хоть и прыток на первых порах, но ничего не смыслит и толку никакого не сделает. . . А дружба? Что они все делают с своими друзьями? Онегин убил Ленского; Печорин только все пикируется с Вернером; Рудин умел оттолкнуть от себя Лежнева и не воспользовался дружбой Покорского. . . Да и мало ли людей, подобных Покорскому, встречалось на пути каждого из них? . . . Что же они, Соединились ли друг с другом для одного общего дела, образовали ли тесный союз для обороны от враждебных обстоятельств? Ничего не было. . . Все рассыпалось прахом, все кончилось той же обломовщиной. . . О любви нечего и говорить. Каждый из обломовцев встречал женщину выше себя (потому что Круциферская выше Бельтова и даже княжна

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 29

Мери все-таки выше Печорина), и каждый постыдно бежал от ее любви или добивался того, чтоб она сама прогнала его... Чем это объяснить, как не давлением на них гнусной обломовщины?

Кроме разницы темперамента, большое различие находится в самом возрасте Обломова и других героев. Говорим не о годах: они почти одноклетки, Рудин даже двумя-тремя годами постарше Обломова; говорим о времени их появления. Обломов относится к позднему времени, стало быть, он уже для молодого поколения, для современной жизни должен казаться гораздо старше, чем казались прежние обломовцы... Он в университете, каких-нибудь 17–18-ти лет, прочувствовал те стремления, проникся теми идеями, которыми одушевляется Рудин в тридцать пять лет. За этим курсом для него было только две дороги: или деятельность, настоящая деятельность — не языком, а головой, сердцем и руками вместе, или уже просто лежанье сложа руки. Апатическая натура привела его к последнему: скверно, но по крайней мере тут нет лжи и обморочиванья. Если б он, подобно своим братцам, пустился толковать во всеуслышание о том, о чем теперь осмеливается только мечтать, то он каждый день испытывал бы огорчения, подобные тем, какие испытал по случаю получения письма от старосты и приглашения от хозяина дома — очистить квартиру. Прежде с любовью, с благоговением слушали фразеров, толкующих о необходимости того и другого, о высших стремлениях и т.п. Но теперь всякого фразера и прожектера встречают требованием: «А не угодно ли попробовать?» Этого уж обломовцы не в силах снести...

В самом деле — как чувствуется веяние новой жизни, когда, по прочтении Обломова, думаешь, **что** вызвало в литературе этот тип. Нельзя приписать этого единственно личному таланту автора и широте его воззрений. И силу таланта, и воззрения самые широкие и гуманные находим мы и у авторов, произведших прежние типы, приведенные нами выше. Но дело в том, что от появления первого из них, Онегина, до сих пор прошло уже тридцать лет. То, что было тогда в зародыше, что выражалось только в неясном полуслове, произнесенном шепотом, то приняло уже теперь определенную и твердую форму, высказалось открыто и громко. Фраза потеряла свое значение; явилась в самом обществе потребность настоящего дела. Бельтов и Рудин, люди с стремлениями действительно высокими и благородными, не только не могли проникнуться необходимостью, но даже не могли представить себе близкой возможности страшной, смертельной борьбы с обстоятельствами, которые их давили. Они вступали в дремучий, неведомый лес, шли по топкому, опасному болоту, видели под ногами разных гадов и змей и лезли на дерево — отчасти, чтоб посмотреть, не увидят ли где дороги, отчасти же для того,

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 30

чтобы отдохнуть и хоть на время избавиться от опасности увязнуть или быть ужаленными. Следовавшие за ними люди ждали, что они скажут, и смотрели на них с уважением, как на людей, шедших впереди. Но эти передовые люди ничего не увидели с высоты, на которую взобрались: лес был очень обширен и густ. Между тем, взлезая на дерево, они испарапали себе лицо, переранили себе ноги, испортили руки. . . Они страдают, они утомлены, они должны отдохнуть, примостившись как-нибудь поудобнее на дереве. Правда, они ничего не делают для общей пользы, они ничего не разглядели и не сказали; стоящие внизу сами, без их помощи, должны прорубать и расчищать себе дорогу по лесу. Но кто же решится бросить камень в этих несчастных, чтобы заставить их упасть с высоты, на которую они взмоглись с такими трудами, имея в виду общую пользу? Им сострадают, от них даже не требуют пока, чтобы они принимали участие в расчистке леса; на их долю выпало другое дело, и они его сделали. Если толку не вышло, — не их вина. С этой точки зрения каждый из авторов мог прежде смотреть на своего обломовского героя, и был прав. К этому присоединилось еще и то, что надежда увидеть где-нибудь выход из лесу на дорогу долго держалась во всей ватаге путников, равно как долго не терялась и уверенность в дальнорзости передовых людей, взобравшихся на дерево. Но вот мало-помалу дело прояснилось и приняло другой оборот: передовым людям понравилось на дереве; они рассуждают очень красноречиво о разных путях и средствах выбраться из болота и из лесу; они нашли на дереве кой-какие плоды и наслаждаются ими, бросая чешуйку вниз; они зовут к себе еще кой-кого, избранных из толпы, и те идут и остаются на дереве, уже и не высматривая дороги, а только пожирая плоды. Это уже — Обломовы в собственном смысле. . . А бедные путники, стоящие внизу, вязнут в болоте, их жалят змеи, пугают гады, хлещут по лицу сучья. . . Наконец толпа решается приняться за дело и хочет воротить тех, которые позже полезли на дерево; но Обломовы молчат и обжираются плодами, Тогда толпа обращается и к прежним своим передовым людям, прося их спуститься и помочь общей работе. Но передовые люди опять повторяют прежние фразы о том, что надо высматривать дорогу, а над расчисткой трудиться нечего. — Тогда бедные путники видят свою ошибку и, махнув рукой, говорят: «Э, да вы все Обломовы!» И затем начинается деятельная, неутомимая работа: рубят деревья, делают из них мост на болоте, образуют тропинку, бьют змей и гадюк, попавшихся не ней, не заботясь более об этих умниках, об этих сильных натурах, Печориных и Рудиных, на которых прежде надеялись, которыми восхищались. Обломовцы сначала спокойно смотрят на общее движение, но потом, по своему обыкновению, трусят и начинают кричать. . . «Ай, ай, — не делайте этого, оставьте, — кричат они,

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 31

видя, что подсекается дерево, на котором они сидят. — Помилуйте, ведь мы можем убится, и вместе с нами погибнут те прекрасные идеи, те высокие чувства, те гуманные стремления, то красноречие, тот пафос, любовь ко всему прекрасному и благородному, которые в нас всегда жили. . . Оставьте, оставьте! Что вы делаете? . . . » Но путники уже слышали тысячу раз все эти прекрасные фразы и, не обращая на них внимания, продолжают работу. Обломовцам еще есть средство спасти себя и свою репутацию: слезть с дерева и приняться за работу вместе с другими. Но они, по обыкновению, растерялись и не знают, что им делать. . . «Как же это так вдруг?» — повторяют они в отчаянии и продолжают посылать бесплодные проклятия глупой толпе, потерявшей к ним уважение.

А ведь толпа права! Если уж она сознала необходимость настоящего дела, так для нее совершенно все равно — Печорин ли перед ней или Обломов. Мы не говорим опять, чтобы Печорин в данных обстоятельствах стал действовать именно так, как Обломов; он мог самыми этими обстоятельствами развиться в другую сторону. Но типы, созданные сильным талантом, долговечны: и ныне живут люди, представляющие как будто сколок с Онегина, Печорина, Рудина и пр., и не в том виде, как они могли бы развиться при других обстоятельствах, и именно в том, в каком они представлены Пушкиным, Лермонтовым, Тургеневым. Только в общественном сознании все они более и более превращаются в Обломова. Нельзя сказать, чтоб превращение это уже совершилось: нет, еще и теперь тысячи людей проводят время в разговорах, и тысячи других людей готовы принять разговоры за дела. Но что превращение это начинается — доказывает тип Обломова, созданный Гончаровым. Появление его было бы невозможно, если бы хотя в некоторой части общества не созрело сознание о том, как ничтожны все эти quasi-талантливые натуры, которыми прежде восхищались. Прежде они прикрывались разными мантиями, украшали себя разными прическами, привлекали к себе разными талантами. Но теперь Обломов является пред нами разоблаченный, как он есть, молчаливый, сведенный с красивого пьедестала на мягкий диван, прикрытый вместо мантии только просторным халатом. Вопрос: *что он делает?* в чем смысл и цель его жизни? — поставлен прямо и ясно, не забит никакими побочными вопросами. Это потому, что теперь уже настало или настает неотлагательно время работы общественной. . . И вот почему мы сказали в начале статьи, что видим в романе Гончарова *знамение времени*.

Посмотрите, в самом деле, как изменилась точка зрения на образованных и хорошо рассуждающих лежебоков, которых прежде принимали за настоящих общественных деятелей.

Вот перед вами молодой человек, очень красивый, ловкий, образован-

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 32

ный. Он выезжает в большой свет и имеет там успех; он ездит в театры, балы и маскарады; он отлично одевается и обедает; читает книжки и пишет очень грамотно... Сердце его волнуется только ежедневностью светской жизни, но он имеет понятие о высших вопросах. Он любит толковать о страстях,

О предрассудках вековых
И гроба тайнах роковых...

Он имеет некоторые честные правила: способен

Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменить,

способен иногда не воспользоваться неопытностью девушки, которую не любит; способен не придавать особенной цены своим светским успехам. Он выше окружающего его светского общества настолько, что дошел до сознания его пустоты; он может даже оставить свет и переехать в деревню, но только и там скучает, не зная, какое найти себе дело... От нечего делать он ссорится с другом своим и по легкомыслию убивает его на дуэли... Через несколько лет опять возвращается в свет и влюбляется в женщину, любовь которой сам прежде отверг, потому что для нее нужно было бы ему отказаться от своей бродяжнической свободы... Вы узнаете в этом человеке Онегина. Но всмотритесь хорошенько; это — Обломов.

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 33

Перед вами другой человек, с более страстной душой, с более широким самолюбием. Этот имеет в себе как будто от природы все то, что для Онегина составляет предмет забот. Он не хлопочет о туалете и наряде: он светский человек и без этого. Ему не нужно подбирать слова и блистать мишурным знанием: и без этого язык у него как бритва. Он действительно презирает людей, хорошо понимая их слабости; он действительно умеет овладеть сердцем женщины, не на краткое мгновение, а надолго, нередко навсегда. Все, что встречается ему на его дороге, он умеет отстранить или уничтожить. Одно только несчастье: он не знает, куда идти. Сердце его пусто и холодно ко всему. Он все испытал, и ему еще в юности опротивели все удовольствия, которые можно достать за деньги; любовь светских красавиц тоже опротивела ему, потому что ничего не давала сердцу; науки тоже надоели, потому что он увидел, что от них не зависит ни слава, ни счастье; самые счастливые люди — невежды, а слава — удача; военные опасности тоже ему скоро привык к ним. Наконец, даже простосердечная, чистая любовь дикой девушки,

которая ему самому нравится, тоже надоедает ему: он и в ней не находит удовлетворения своих порывов. Но что же это за порывы? куда влекут они? отчего он не отдается им всей силой души своей? Оттого, что он сам их не понимает и не дает себе труда подумать о том, куда девать свою душевную силу; и вот он проводит свою жизнь в том, что острит над глупцами, тревожит сердца неопытных барышень, мешается в чужие сердечные дела, напрашивается на ссоры, выказывает отвагу в пустяках, дерется без надобности. . . Вы припоминаете, что это история Печорина, что отчасти почти такими словами сам он объясняет свой характер Максиму Максимычу. . . Вспомнитесь, пожалуйста, получше: вы и тут увидите того же Обломова. . .

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 34

Но вот еще человек, более сознательно идущий по своей дороге. Он не только понимает, что ему дано много сил, но знает и то, что у него есть великая цель. . . Подозревает, кажется, даже и то, какая это цель и где она находится. Он благороден, честен (хотя часто и не платит долгов); с жаром рассуждает не о пустяках, а о высших вопросах; уверяет, что готов пожертвовать собою для блага человечества. В голове его решены все вопросы, все приведено в живую, стройную связь; он увлекает своим могучим словом неопытных юношей, так что, послушав его, и они чувствуют, что призваны к чему-то великому. . . Но в чем проходит его жизнь? В том, что он все начинает и не оканчивает, разбрасывается во все стороны, всему отдается с жадностью и — не может отдаться. . . Он влюбляется в девушку, которая наконец говорит ему, что, несмотря на запрещение матери, она готова принадлежать ему; а он отвечает: «Боже! так ваша маменька не согласна! какой внезапный удар! Боже! как скоро! . . . Делать нечего, — надо покориться! . . .» И в этом точный образец всей его жизни. . . Вы уже знаете, что это Рудин. . . Нет, теперь уж и это Обломов. Когда вы хорошенько всмотритесь в эту личность и поставите ее лицом к лицу с требованиями современной жизни, — вы сами в этом убедитесь.

Общее у всех этих людей то, что в жизни нет им дела, которое бы для них было жизненной необходимостью, сердечной святыней, религией, которое бы органически срослось с ними, так что отнять его у них значило бы лишить их жизни. Все у них внешнее, ничто не имеет корня в их натуре. Они, пожалуй, и делают что-то такое, когда принуждает внешняя необходимость, так, как Обломов ездил в гости, куда тащил его Штольц, покупал ноты и книги для Ольги, читал то, что она заставляла его читать. Но душа их не лежит к тому делу, которое наложено на них случаем. Если бы каждому из них даром предложили все внешние выгоды, какие им доставляются их работой, они бы с радостью отказались от своего дела. В силу обломовщины обломовский чиновник не станет

ходить в должность, если ему и без того сохранят его жалованье и будут производить в чины. Воин даст клятву не прикасаться к оружию, если ему предложат те же условия, да еще сохранят его красивую форму, очень полезную в известных случаях. Профессор перестанет читать лекции, студент перестанет учиться, писатель бросит авторство, актер не покажется на сцену, артист изломает резец и палитру, говоря высоким слогом, если найдет возможность даром получить все, чего теперь добивается трудом. Они только говорят о высших стремлениях, о сознании нравственного долга, о проникновении общими интересами, а на поверку выходит, что все это — слова и слова. Самое искреннее, задушевное их стремление есть стремление к покою, к халату, и самая деятельность их есть не что иное, как *почетный халат* (по выражению, не нам принадлежащему), которым прикрывают они свою пустоту и апатию. Даже наиболее образованные люди, притом люди с живою натурою, с теплым сердцем, чрезвычайно легко отступаются в практической жизни от своих идей и планов, чрезвычайно скоро мирятся с окружающей действительностью, которую, однако, на словах не перестают считать пошлой и гадкой. Это значит, что все, о чем они говорят и мечтают, — у них чужое, наносное; в глубине же души их коренится одна мечта, один идеал — возможно невозмутимый покой, квинтизм, обломовщина. Многие доходят даже до того, что не могут представить себе, чтоб человек мог работать по охоте, по увлечению. Прочтите-ка в «Экономическом указателе» рассуждения о том, как все умрут голодною смертью от безделья, ежели равномерное распределение богатства отнимет у частных людей побуждение стремиться к наживанию себе капиталов. . .

Да, все эти обломовцы никогда не переработывали в плоть и кровь свою тех начал, которые им внушили, никогда не проводили их до последних выводов, не доходили до той грани, где слово становится делом, где принцип сливается с внутренней потребностью души, исчезает в ней и делается единственною силою, двигающею человеком. Потому-то эти люди и лгут беспрестанно, потому-то они и являются так несостоятельными в частных фактах своей деятельности. Потому-то и дороже для них отвлеченные воззрения, чем живые факты, важнее общие принципы, чем простая жизненная правда. Они читают полезные книги для того, чтобы знать, что пишется; пишут благородные статьи затем, чтобы любоваться логическим построением своей речи; говорят смелые вещи, чтобы прислушиваться к благозвучию своих фраз и возбуждать ими похвалы слушателей. Но что далее, какая цель всего этого читанья, писанья, говоренья, — они или вовсе не хотят знать, или не слишком об этом беспокоятся. Они постоянно говорят вам: вот что мы знаем, вот что мы думаем, а впрочем — как там хотят, наше дело — сторона. . .

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 35

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 36

Пока не было работы в виды, можно было еще надувать этим публику, можно было тщеславиться тем, что мы вот, дескать, все-таки хлопочем, ходим, говорим, рассказываем. На этом и основан был в обществе успех людей, подобных Рудину. Даже больше — можно было заняться курежом, интрижками, каламбурами, театральством — и уверять, что это мы пустились, мол, оттого, что нет простора для более широкой деятельности. Тогда и Печорин, и даже Онегин, должен был казаться натурой с необъятными силами души. Но теперь уж все эти герои отодвинулись на второй план, потеряли прежнее значение, перестали сбивать нас с толку своей загадочностью и таинственным разладом между ними и обществом, между великими их силами и ничтожностью дел их. . .

Теперь загадка разъяснилась
теперь им слово найдено.

Слово это — *о б л о м о в щ и н а*.

Если я вижу теперь помещика, толкующего о правах человечества и о необходимости развития личности, — я уже с первых слов его знаю, что это Обломов.

Если встречаю чиновника, жалующегося на запутанность и обременительность делопроизводства, он — Обломов.

Если слышу от офицера жалобы на утомительность парадов и смелые рассуждения о бесполезности *тихого шага* и т.п., я не сомневаюсь, что он Обломов.

Когда я читаю в журналах либеральные выходки против злоупотреблений и радость о том, что наконец сделано то, чего мы давно надеялись и желали, — и я думаю, что это всё пишут Обломовки.

Когда я нахожусь в кружке образованных людей, горячо сочувствующих нуждам человечества и в течение многих лет с неумещающимся жаром рассказывающих все те же самые (а иногда и новые) анекдоты о взяточниках, о притеснениях, о беззакониях всякого рода, — я невольно чувствую, что я перенесен в старую Обломовку. . .

Остановите этих людей в их шумном разглагольствии и скажите: «Вы говорите, что нехорошо то и то; что же нужно делать?» Они не знают. . . Предложите им самое простое средство, — они скажут: «Да как же это так вдруг?» Непременно скажут, потому что Обломовы иначе отвечать не могут. . . Продолжайте разговор с ними и спросите: что же вы намерены делать? — Они вам ответят тем, чем Рудин ответил Наталье: «Что делать? Разумеется, покориться судьбе. Что же делать! Я слишком хорошо знаю, как это горько, тяжело, невыносимо, но, посудите сами. . .» и пр. (См.: Тургенев. «Повести», ч. III, стр. 249.) Больше

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 37

от них вы ничего не дождетесь, потому что на всех их лежит печать обломовщины.

Кто же наконец сдвинет их с места этим всемогущим словом «вперед!», о котором так мечтал Гоголь и которого так давно и томительно ожидает Русь? До сих пор нет ответа на этот вопрос ни в обществе, ни в литературе. Гончаров, умевший понять и показать нам нашу обломовщину, не мог, однако, не заплатить дани общему заблуждению, до сих пор столь сильному в нашем обществе: он решился похоронить обломовщину и сказать ей похвальное надгробное слово. «Прощай, старая Обломовка, ты отжила свой век», — говорит он устами Штольца, и говорит неправду. Вся Россия, которая прочитала или прочитает Обломова, не согласится с этим. Нет, Обломовка есть наша прямая родина, ее владельцы — наши воспитатели, ее триста Захаров всегда готовы к нашим услугам. В каждом из нас сидит значительная часть Обломова, и еще рано писать нам надгробное слово. Не за что говорить об нас с Ильёю Ильичом следующие строки:

В нем было то, что дороже всякого ума: честное, верное сердце! Это его природное золото; он невредимо пронес его сквозь жизнь. Он падал от толчков, охлаждался, заснул наконец, убитый, разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечет на фальшивый путь; пусть волнуется ядом и пойдет навыворот, — никогда Обломов не поклонится идолу лжи, в душе его всегда будет чисто, светло, честно. . . Это хрустальная, прозрачная душа; таких людей мало; это перлы в толпе! Его сердце не подкупишь ничем, на него всюду и везде можно положиться.

Распространяться об этом пассаже мы не станем; но каждый из читателей заметит, что в нем заключена большая неправда. Одно в Обломове хорошо действительно: то, что он не усиливался надувать других, а уж так и являлся в натуре — лежебоком. Но помилуйте, в чем же на него *можно положиться?* в том, где ничего делать не нужно? Тут он действительно отличится так, как никто. Но ничего-то не делать и без него можно. Он не поклонится идола зла! Да ведь почему это? Потому, что ему лень встать с дивана. А стащите его, поставьте на колени перед этим идолом: Он не в силах будет встать. Не подкупишь его ничем. Да на что его подкупать-то? На то, чтобы с места сдвинулся? Ну, это действительно трудно. Грязь к нему не пристанет! Да пока лежит

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 38

один, так еще ничего; а как придет Тарантьев, Затертый, Иван Матвееч — брр! какая отвратительная гадость начинается около Обломова. Его объедают, опивают, спаивают, берут с него фальшивый вексель (от которого Штольц несколько бесцеремонно, по русским обычаям, без суда и следствия избавляет его), разоряют его именем мужиков, дерут с него немилосердные деньги ни за что ни про что. Он все это терпит безмолвно и потому, разумеется, не издает ни одного фальшивого звука.

Нет, нельзя так льстить живым, а мы еще живы, мы еще по-прежнему Обломовы. Обломовщина никогда не оставляла нас и не оставила даже теперь — *в настоящее время, когда*, и пр. Кто из наших литераторов, публицистов, людей образованных, общественных деятелей, кто не согласится, что, должно быть, его-то именно и имел в виду Гончаров, когда писал об Илье Ильиче следующие строки:

Ему доступны были наслаждения высоких помыслов; он не чужд был всеобщих человеческих скорбей. Он горько в глубине души плакал в иную пору дал бедствиями человечества, испытывал безвестные, безыменные страдания, и тоску, и стремления куда-то вдаль, туда, вероятно, в тот мир, куда увлекал его, бывало, Штольц. Сладкие слезы потекут по щекам его. Случается и то, что он исполнится презрения к людскому пороку, ко лжи, к клевете, к разлитому в мире злу, и разгорится желанием указать человеку на его язвы, — и вдруг загораются в нем мысли, ходят и гуляют в голове, как волны в море, потом вырастают в намерения, зажгут всю кровь в нем, — задвигаются мускулы его, напрягутся жилы, намерения преображаются в стремления: он, две-три позы, с блистающими глазами привстанет до половины на постели, протянет руку и вдохновенно озирается кругом... Вот, вот стремление осуществится, обратится в подвиг... и тогда, господи! каких чудес, каких благих последствий могли бы ожидать от такого высокого усилия! Но, смотришь, промелькнет утро, день уж клонится к вечеру, а с ним клонятся к покою и утомленные силы Обломова; бури и волнения смиряются в душе, голова отрезвляется от дум, кровь медленнее пробирается по жилам. Обломов тихо, задумчиво переворачивается на спину и, устремив печальный взгляд в окно к небу, с грустью провожает глазами солнце, великолепно садящееся за чей-то четырехэтажный дом. И сколько, сколько раз он провожал так солнечный закат!

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 39

Не правда ли, образованный и благородно мыслящий читатель, — ведь тут верное изображение ваших благих стремлений и вашей полезной деятельности? Разница может быть только в том, до какого момента вы доходите в вашем развитии. Илья Ильич доходил до того, что при­вставал с постели, протягивал руку и озирался вокруг. Иные так далеко не заходят; у них только мысли гуляют в голове, как волны в море (таких большая часть); у других мысли вырастают в намерения, но не доходят до степени стремлений (таких меньше); у третьих даже стремления яв­ляются (этих уж совсем мало)...

Итак, следуя направлению настоящего времени, когда вся литерату­ра, по выражению г. Бенедиктова, представляет

... нашей плоти истязанье.
Вериги в прозе и стихах,—

мы смиренно сознаемся, что как ни лестны для нашего самолюбия по­хвалы г. Гончарова Обломову, но мы не можем признать их справедливы­ми. Обломов менее раздражает свежего, молодого, деятельного человека, нежели Печорин и Рудин, но все-таки он противен в своей ничтожности.

Отдавая дань своему времени, г. Гончаров вывел и противоядие Об­ломову — Штольца. Но по поводу этого лица мы должны еще раз по­вторить наше постоянное мнение — что литература не может забежать слишком далеко вперед жизни. Штольцев, людей с цельным, деятельным характером, при котором всякая мысль тотчас же является стремлением и переходит в дело, еще нет в жизни нашего общества (разумею обра­зованное общество, которому доступны высшие стремления; в массе, где идеи и стремления ограничены очень близкими и немногими предметами, такие люди беспрестанно попадают). Сам автор сознавал это, говоря о нашем обществе: «Вот, глаза очнулись от дремоты, слышались бой­кие, широкие шаги, живые голоса... Сколько Штольцев должно явиться под русскими именами!» Должно явиться их много, в этом нет сомнения; но теперь пока для них нет почвы. Оттого-то из романа Гончарова мы и видим только, что Штолец — человек деятельный, все о чем-то хло­почет, бегаёт, приобретает, говорит, что жить — значит трудиться, и пр. Но что он делает и как он ухитряется делать что-нибудь порядоч­ное там, где другие ничего не могут сделать, — это для нас остается тайной. Он мигом устроил Обломовку для Ильи Ильича; — как? этого мы не знаем. Он мигом уничтожил фальшивый вексель Ильи Ильича; — как? это мы знаем. Поехав к начальнику Ивана Матвеича, которо­му Обломов дал вексель, поговорил с ним дружески — Ивана Матвеича призвали в присутствие и не только что вексель велели возвратить, но

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 40

даже и из службы выходить приказали. И поделом ему, разумеется; но, судя по этому случаю, Штольц не дорос еще до идеала общественного русского деятеля. Да и нельзя еще: рано. Теперь еще — хотя будь семи пядей во лбу, а в заметной общественной деятельности можешь, пожалуй, быть *добродетельным откупщиком* Муразовым, делающим добрые дела из десяти миллионов своего состояния, или благородным помещиком Костанжногло, — но далее не пойдешь. . . И мы не понимаем, как мог Штольц в своей деятельности успокоиться от всех стремлений и потребностей, которые одолевали даже Обломова, как мог он удовлетвориться своим положением, успокоиться на своем одиноком, отдельном, исключительном счастье. . . не надо забывать, что под ним болото, что вблизи находится старая Обломовка, что нужно еще расчищать лес, чтобы выйти на большую дорогу и убежать от обломовщины. Делал ли что-нибудь для этого Штольц, что именно делал и как делал, — мы не знаем. А без этого мы не можем удовлетвориться его личностью. . . Можем сказать только то, что не он тот человек, который «сумеет, на языке, понятном для русской души, сказать нам это всемогущее слово: «вперед!»»

Может быть, Ольга Ильинская способнее, нежели Штольц, к этому подвигу, ближе его стоит к нашей молодой жизни. Мы ничего не говорили о женщинах, созданных Гончаровым: ни об Ольге, ни об Агафье Матвеевне Пшеницыной (ни даже об Анисье и Акулине, которые тоже отличаются своим особым характером), потому что сознавали свое совершеннейшее бессилие что-нибудь сносное сказать о них. Разбирать женские типы, созданные Гончаровым, значит предъявлять претензию быть великим знатокам женского сердца. Не имея же этого качества, женщинами Гончарова можно только восхищаться. Дамы говорят, что верность и тонкость психологического анализа у Гончарова — изумительна, и дамам в этом случае нельзя не поверить. . . Прибавить же что-нибудь к их отзыву мы не осмеливаемся, потому что боимся пускаться в эту совершенно неведомую для нас страну. Но мы берем на себя смелость, в заключении статьи, сказать несколько слов об Ольге и об отношениях ее к обломовщине.

Ольга, по своему развитию, представляет высший идеал, какой только может теперь русский художник вызвать из теперешней русской жизни. Оттого она необыкновенной ясностью и простотой своей логики и изумительной гармонией своего сердца и воли поражает нас до того, что мы готовы усомниться в ее даже поэтической правде и сказать: «Таких девушек не бывает». Но, следя за нею во все продолжение романа, мы находим, что она постоянно верна себе и своему развитию, что она представляет не сентенцию автора, а живое лицо, только такое, каких мы еще не встречали. В ней-то более, нежели в Штольце, можно видеть

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 41

намек на новую русскую жизнь; от нее можно ожидать слова, которое сожжет и развеет обломовщину. . . Она начинает с любви к Обломову, с веры в него, в его нравственное преобразование. . . Долго и упорно, с любовью и нежною заботливостью, трудится она над тем, чтобы возбудить жизнь, вызвать деятельность в этом человеке. Она не хочет верить, чтобы он был так бессилён на добро; любя в нём свою надежду, свое будущее создание, она делает для него все: пренебрегает даже условными приличиями, едет к нему одна, никому не сказавшись, и не боится, подобно ему, потери своей репутации. Но она с удивительным тактом замечает тотчас же всякую фальшь, проявляющуюся в его натуре, и чрезвычайно просто объясняет ему, как и почему это ложь, а не правда. Он, например, пишет ей письмо, о котором мы говорили выше, и потом уверяет ее, что писал это единственно из заботы о ней, совершенно забывши себя, жертвуя собою, и т.д. «Нет, — отвечает она, — неправда; если бы вы думали только о моем счастье и считали необходимою для него разлуку с вами, то вы бы просто уехали, не посылая мне предварительно никаких писем». Он говорит, что боится ее несчастья, если она со временем поймет, что ошибалась в нем, разлюбит его и полюбит другого. Она спрашивает в ответ на это: «Где же вы тут видите несчастье мое? Теперь я вас люблю, и мне хорошо; а после я полюблю другого, и, значит, мне с другим будет хорошо. Напрасно вы обо мне беспокоитесь». Эта простота и ясность мышления заключают в себе задатки новой жизни, не той, в условиях которой выросло современное общество. . . Потом, — как воля Ольги послушна ее сердцу! Она продолжает свои отношения и любовь к Обломову, несмотря на все посторонние неприятности, насмешки и т.п., до тех пор, пока не убеждается в его решительной дрянности. Тогда она прямо объявляет ему, что ошиблась в нем, и уже не может решиться соединить с ним свою судьбу. Она еще хвалит и ласкает его и при этом отказе, и даже после; но своим поступком она уничтожает его, как ни один из обломовцев не был уничтожаем женщиной. Татьяна говорит Онегину, в заключении романа:

Я вас люблю (к чему лукавить?),
 Но я другому отдана
 И буду век ему верна. . .

Итак, только внешний нравственный долг спасает ее от этого пустоты фата; будь она свободна, она бы бросилась ему на шею. Наталья оставляет Рудина только потому, что он сам уперся на первых же порах, да и, проводив его, она убеждается только в том, что он ее не любит, и ужасно горюет об этом. Нечего и говорить о Печорине, который успел

Н.А. Добролюбов:
 «Литературная
 критика»
 (Москва 1979)
 стр. 42

заслужить только *ненависть* княжны Мери. Нет, Ольга не так поступила с Обломовым. Она просто и кротко сказала ему: «Я узнала недавно только, что я любила в тебе то, что я хотела, чтоб было в тебе, что указал мне Штольц, что мы выдумали с ним. Я любила будущего Обломова! Ты кроток, честен, Илья; ты нежен. . . как голубь; ты спрячешь голову под крыло — и ничего не хочешь больше; ты готов всю жизнь проворковать под кровлей. . . да я не такая: мне мало этого, мне нужно чего-то еще, а чего — не знаю!» И она оставляет Обломова, и она стремится к своему *чему-то*, хотя еще и не знает его хорошенько. Наконец она находит его в Штольце, соединяется с ним, счастлива; но и тут не останавливается, не замирает. Какие-то туманные вопросы и сомнения тревожат ее, она чего-то допытывается. Автор не раскрыл пред нами ее волнений во всей их полноте, и мы можем ошибиться в предположении насчет их свойства. Но нам кажется, что это в ее сердце и голове веяние новой жизни, к которой она несравненно ближе Штольца. Думаем так потому, что находим несколько намеков в следующем разговоре:

— Что же делать? поддаться и тосковать? — спросила она.

— Ничего, — сказал он. — вооружаться твердостью и спокойствием. мы не титаны с тобой., — продолжал он, обнимая ее, — мы не пойдем с Манфредами и Фаустами на дерзкую борьбу с мятежными вопросами, не примем их вызова, склоним головы и смиренно переживем трудную минуту, и опять потом улыбнется жизнь счастье и. . .

— А если они никогда не отстанут: грусть будет тревожить все больше, больше? — спрашивала она.

— Что ж? примем ее, как новую стихию жизни. . . Да нет, этого не бывает, не может быть у нас! Это не твоя грусть: это общий недуг человечества. На тебя брызнула одна капля. . . Все это страшно, когда человек отрывается от жизни, — когда нет опоры. А у нас. . .

Он не договорил, **что** у нас. . . Но ясно: что *он* не хочет «идти на борьбу с мятежными вопросами», *он* решается «смирненно склонить голову». . . А она готова на эту борьбу, тоскует по ней и постоянно страшится, чтоб ее тихое счастье с Штольцем не превратилось во что-то, подходящее к обломовской апатии. Ясно, что она не хочет склонять голову и смиренно переживать трудные минуты, в надежде, что потом опять улыбнется жизнь. Она бросила Обломова, когда перестала в него верить; она оставит и Штольца, ежели перестанет верить в него. А это случится, ежели

Н.А. Добролюбов:
«Литературная
критика»
(Москва 1979)
стр. 43

вопросы и сомнения не перестанут мучить ее, а он будет продолжать ей советы — принять их, как новую стихию жизни, и склонить голову. Обломовщина хорошо ей знакома, она сумеет различить ее во всех видах, под всеми масками, и всегда найдет в себе столько сил, чтоб произнести над нею суд беспощадный. . .